



*Т. Бегенік*  
1934

**В. ГИЛЯРОВСКИЙ**

# **ДРУЗЬЯ и ВСТРЕЧИ**

**СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА**

**19**

**МОСКВА**

**34**

## УЧЕНИК РАСПЛЮЕВА

В московском шулерском мирке, мало посещавшем театры вследствие того, что все всегда были заняты картами, пользовалась вниманием только одна пьеса «Свадьба Кречинского»—уж очень она их сердцу была близка. Среди них существовали свой Кречинский и свой Расплюев.

— Вчера метал банк Кречинский!

И все знали, что разговор идет про старого игрока, щеголя Попова.

— Расплюев арапа запустил.... Пенснэ у него разбили.

И все знали, что арапа запустил Николай Назарович «Расплюев». Но никому не известно было, кто он, откуда, как его настоящая фамилия. Знал это, может быть, один только Василий Морозович Темный, его неразлучный друг, с которым они вместе играли, не раз вместе попадались и вместе шествовали по этапу, для удостоверения личности, в Тамбов и оттуда тотчас же преблагополучно возвращались в Москву.

Известно, что Василий Морозович Темный на самом деле был мещанин Василий Морозов. Вместе в шулерской компании они работали по игорным домам в Москве, а в ярмарках, в вагонах и на пароходах—только вдвоем. Уж очень удобная была пара: Расплюев, всегда чисто выбритый, с подстриженными усами, с причесанной по моде головой, в неизменном золотом пенснэ, держался барином, а

Темный, в долгополом сюртуке, в щегольских смазных сапогах, в картузе набекрень, с бородой лопатой — выглядел богатым захолустным купцом или кулаком-землевладельцем. Вообще это была фигура лихая, атаманская. Оба друга являлись шулерами высокого класса. Говорили, что их связывала какая-то тайна. Василий Морозыч еще в своей среде назывался по имени персонажа из той же «Свадьбы Кречинского» — купцом Щебневым. Купец Щебнев — это тот самый, который в пьесе повторяет все время одну фразу: «Прикажите получить-с».

Это была любимая фраза и Темного, когда он метал банк, — без денег он никогда не метал и, убив карту, тотчас же требовал:

— Прикажите получить.

Вот за это его и прозвали Щебневым.

На моей памяти — в поезде между Козловым и Москвой они обыграли московского богача Сергея Губонина на двенадцать тысяч рублей, и Губонин, рассказывая об этом в клубе друзьям, доказывавшим, что попал на шулеров, уверял:

— Помилуйте, быть не может. И по одежде купец, и фамилия хорошо знакомая, купеческая фамилия, Щебнев, с ним барин в золотом пенсне ехал; тоже проиграл и он.

Уж разуверился тогда, когда ему показали афишу «Свадьбы Кречинского», где напечатано было в числе действующих лиц «Купец Щебнев».

Кречинским звали Попова, но вслух в глаза ему не говорили, боялись:

— Он за Кречинского ребра переломал Ломоносову.

А Ломоносов первым кулачным бойцом считался. Попова и боялись и уважали шулера, как великого мастера своего дела, всегда скромного и державшего свое слово. Одевался он, даже являясь в прязные игорные притоны, всегда шикарно: черная пара от лучшего портного, — его поставщиком был исключительно Сижэ, — стройный, высокого роста, и никогда, сознавая свою опромнутую физическую силу,

не возвышавший голоса. Стоило молча поднять ему свою большую выхоленную руку (он даже спал в перчатке), и всякий шум прекращался за игорным столом при самой ка-торжной компании. Приемы Кречинского были приемами барина, именно в том духе, как играл Киселевский у Корша, они были усвоены им до мелочей, только носил он не бакенбарды, обязательные у Кречинского на всех сценах, а красиво подстриженные, тонкие, выхоленные усы.

Он, разгадывавший первым каждый новый прием шулерства и придумавший некоторые приемы, сам не любил бывать на народе, не играл ни в клубах, ни на свадьбах и балах в Москве, а уезжал для игры в отдаленные от центра города, где его не знали, главным образом в Сибирь, да по старой памяти иногда играл на пароходах. В Москве его специальностью было метать банк на «мельницах» только среди шулеров и представителей преступного мира — и обыгрывать их только ловкостью рук и новизной приема... И никогда никто его не поймал. В Москве он занимал небольшую уютную квартиру, где жил со своей старухой-матерью и с гражданской женой, красивой эстонкой. Узнав, что какие-нибудь московские шулера кого-нибудь обыграли на большую сумму, он устраивал у себя карточный вечер, где, кроме шулеров самого высокого полета, никого не было — и обыгрывал их вчистую каким-нибудь вновь изобретенным специально для этого случая приемом. Впоследствии этот прием расшифровывался, входил в обиход, и никто из обыгранных Поповым шулеров на него не сердился, а, узнав секрет, шулера сами применяли его в игре.

— На него понтировать все равно, что с бритвы мед лизать! — говаривали самые опытные игроки, но, чуть бывало позовет на вечеринку, как тараканы на хлеб лезли.

Красиво метал Попов! Изящно сорвав обложку с колоды, а колода уже подменена незримо у всех на глазах, начинал тасовать, прорезая насквозь, — а карты все ложились в том же самом порядке, как они были заранее сложены, — и давал кому-нибудь срезать. Но резка ни к чему не приво-

дила — ловкое движение руки — и карты вновь лежали, как он заранее рассчитал.

Игра была готова. Ставили деньги — или кому разрешено — записывали мелом. Орлиным, именно орлиным глазом он окидывал стол — и сразу видел все, — на какие карты крупные ставки, на какие мельче, верны ли записи.

— Что у вас там написано? Пять или три? Три? Ну так хвостик прочеркните направо... А мне показалось отсюда — пять...

— А этот угол на пе или на перепе?

— На пе...

— У вас мелок подкололся, две полоски дает... выходит на перепе...

— Заметал!

Как машина, правильно и размеренно ложились карты направо и налево: после каждого «абзуга». Попов оглядывал стол и тихо тянул верхнюю карту. Вот показались за тузом червонные «четыре сбоку», — а одна «четыре сбоку» — девятка — уже была дана, значит по теории вероятности десятка, может быть лежащая под тузом — дана. Самая крупная ставка, пучок сотенных, поставлена была на десятку... Попов снял туза, но под ним оказалась не десятка, а валет... Десятка следующая — бита. Все догадывались конечно, что перевернуто, — но никто не видел этого.

Таков был московский Кречинский 70-х, 80-х и 90-х годов.

С этим-то самым Поповым я познакомился в 1874 году в Ярославле, а через год после этого на Нижегородской ярмарке спас его от смерти, вырвав из рук «душителей».

В первой половине 80-х годов я встретил его в Москве, в билиардной ресторана «Эрмитаж», где изредка выпадала крупная игра, но по большей части публики бывало мало, потому что туда пускали далеко не всех. Проходя мимо, я случайно зашел в билиардную посмотреть игру. Один

бильярд стоял пустой, а на другом в соседней комнате, за спущенными драпери, играл с маркером высокий щеголь — и играл прекрасно. Я сел на диван в тот момент, когда щеголь, наклоняясь над бильярдом, бегло взглянул на меня и блестяще закончил партию, положив щегольским ударом два последних шара.

— Нет, Николай Васильевич, с вами «так на так» играть я не могу... Десять очков вперед разве... А то немислимо.

— Ну хорошо, Алексей, пока довольно. Вот тебе за партию, сдачи на него,—щеголь бросил на бильярд пять рублей.—Шары оставь, бильярд за мной, и ступай наверх, скажи Мариусу, чтобы прислал моего, сотерна и старопобри.

Я смотрел на него, и мне вспомнилась ночь... Пустая площадь... Две крадущиеся за высоким человеком фигуры... Волосяная петля «душителей»...

И вот он опять был передо мной... Вымыв после игры руки, он подошел ко мне.

— Простите, что я подошел к вам. Но если б не вы тогда, так этого не было бы. Узнали? Я—Попов, Николай Васильевич, помните?

— Сразу вас узнал, Николай Васильевич. Очень рад.

— Ну, вот насчет рад, знаете... Может быть и рады, потому что не знаете... всего не знаете... Но я вам должен сказать все... Не откажите выпить со мной стакан вина... Прекрасное, куплено во Франции еще самим Оливье... Ведь Оливье тоже игрок был когда-то.

В это время вошел Алексей, и половой в белой рубашке принес вино и сыр.

— Еще стакан, Алексей! Сам принеси.

— Пожалуйста,—пригласил Попов меня к столу.

— С удовольствием!

Мы пили действительно прекрасный сотерн.

Попов и до этого не раз встречал меня в Москве, но

стеснялся подходить, а я его не узнавал, забыл. Он читал почти все, что я писал, и удивился, что это писал я, тот самый, который тогда в Нижнем ходил в высоких сапогах и картузе. Он сознался, что юстался таким же игроком-профессионалом, каким был тогда, только еще более усовершенствовался.

— Если вы познакомитесь с игроками, или вот хоть спросите Алексея, вам многое про меня расскажут—и все, что они будут говорить—верно. Скажут, шулер—верьте... Вот почему я и не подхожу к вам и не лезу со своим знакомством. Да я нигде и не бываю кроме «мельниц»... Вот и сегодня у Васьки Павловского на Большой Дмитровке банк мечу, а вчера был в притоне у Вьюна на Грачевке... И нигде больше не бываю. Иногда вот прихожу сюда с Алексеем поиграть на бильярде... Но на деньги я никогда на бильярде не играю... Вообще у меня система не заводить знакомств без нужды и меньше показываться на людях. А то придешь в бильярдную, и вдруг кругом шопот: «Кречинский пришел». Ну, поняли вы теперь, кто я?..

Мы пили вино, он все изливался, благодарил меня за спасение жизни и взял с меня слово при встречах не узнавать его и не подходить к нему:

— Разрешите только мне иногда подходить к вам,—я знаю, когда можно.

В конце концов мы сыграли партию на бильярде, и я, хорошо игравший, остался на пятидесяти очках, когда он закончил партию дублетом.

— Хорошо играете,—сказал он мне, и мы разошлись.

В течение следующих десяти лет мы встречались раза три. Однажды по моей усиленной просьбе он сказал мне пароль-пропуск на шикарную «мельницу» Цапли-Орловского, где я видел знаменитую метку Попова, конечно и виду не подав, что мы знакомы,—а потом лет десять не видал его и забыл даже о его существовании в суете своей работы и из-за частых отъездов из Москвы.



Как-то раз в апреле 1912 года я присел на скамейку Нарышкинского сквера и, просмотрев газету, собирался уже встать, когда рядом со мной опустился на скамейку высокий старик с густой седой бородой, в потрепанном пальто и в вылинявшей фетровой шляпе.

— Владимир Алексеевич, вот я сам теперь подошел к вам... Узнали? Попов. Позвольте с вами посидеть?

— Пожалуйста, рад вас видеть, Николай Васильевич.

— Вот теперь и я вижу по глазам вашим, что будто вы рады меня видеть... Жалеете, вижу, меня... Ну, как-ков я?..

— Постарели, Николай Васильевич.

— Да, теперь я опять Николай Васильевич Попов и похож больше уж не на Кречинского, а на Расплюева после трепки докучаевской.

— Ничего, это дело поправимое,—успокоил я его.

Вздыхнул старик и указал своей, все еще попрежнему мягкой и белой рукой на противоположную сторону бульвара:

— Видите это домик? Видите герб наверху?

— Вижу.

— Этот домик когда-то принадлежал тому, кто придумал фамилию Кречинский, Сухово-Кобылину. Это все старые игроки знают. Ведь у нас, игроков, самая любимая пьеса «Свадьба Кречинского»,—ну и об авторе ее не раз мне приходилось слышать... и дом этот мне указывали. Много разговоров было... Старик Шелье лично знал Сухово-Кобылина, вместе с ним после убийства содержался под шарами в Тверской части. Шелье тоже хоть и шулер, а фамилии барской был, его тоже не в клоповник, а на гауптвахту посадили поэтому, в отдельную камеру.

День был теплый. Солнышко так и жарило.

— Хорошо на солнышке. Одна радость осталась—солнышко. Я каждый день хожу сюда кости погреть.

Разговорились дальше.

— Лет десять, как я бедствую... В комнатушке приютился...

Я насилу уговорил старика зайти ко мне пообедать. Чуть не силой привел... После обеда я упросил его, и упросил с большим трудом, взять денег на пальто и обувь и записал его адрес—угол Садовой и Каретного ряда...

Через два или три дня я зашел к нему. Он жил в сыром флигеле во дворе, комнатка была мрачная, облезлая. Сам Попов, чистенько одетый, подстриженный, в хорошем пальто, пил с калачом чай из кружки и жестяного чайника.

Я увел его к себе обедать. Моим домашним он понравился, я выдал его за моего старого друга юности.

Недели через две мы пригласили его провести у нас лето на даче. За лето старик поправился, порозовел и все радовался... Всему радовался, а больше всего солнышку. Все мои домашние его полюбили. Обедал он вместе с нами, а жил отдельно, в комнатке во флигельке.

— В первый раз в жизни счастливым стал,—никто-то здесь меня не знает. А хорошо то, что хорошо забыто...

В Москву Попов не поехал, остался зимовать во флигельке, а потом среди зимы перебрался в соседнюю деревню в избу, да и застрял там. Летом он пользовался нашим столом, а зимой я посылал ему провиант из города.

Жили мы с ним по-хорошему. Дома при всех разговор у нас был один, а когда мы с ним вдвоем гуляли в лесу или я заходил в его комнатку—разговоры бывали другие: старину вспоминали...

— Лет десять я до этого яра здешнего бедствовал. Сперва умерла мать, до глубокой старости добрая была, а потом моя Эммочка, тридцать лет мы с ней невенчанно жили, у нее муж в Ревеле остался. А потом без них все опротивело, и жизнь—и даже что?!—игра опротивела, игра, которую я больше всего любил...

На столе у Николая Васильевича всегда лежали две-три

колоды карт, и во время разговоров он не выпускал их из рук.

— Все опротивело... Игра опротивела. Опустился я...

У него была какая-то своя профессиональная шулерская гордость, и она выявлялась иногда во время разговоров. Он воздушевлялся, красивые черные глаза его начинали сверкать, а в руках карты и прыгали, и вертелись, и трещали, и как ветер шумели...

— Разве теперь игроки? Портяночники! Шантрапа!.. Прежде было искусство, а теперь? Ишь какое искусство—прометать готовую накладку!.. А подсунуть ее в десять колод железки всякий фармазонщик или подкидчик сумеет... Ни ума, ни искусства тут не нужно. Любой лапотник промечет. А прежде требовались и метка, и складка, и тасовка сквозная,—он распустил карты веером, перетасовал их, и все карты оказались лежащими в прежнем, но обратном порядке. — А сколько разных авантажей — все их знать надо было. А банки — «кругляк», «девятиабцужник», — последний — когда девять карт из тринадцати бьются, а «кругляк» — когда бьются все под ряд...

И он, держа колоду в руках, показывал мне поразительные вещи, делая неуловимые вольты перед моими глазами и передергивая так, что невозможно было заметить. А тасовал он так, что карты насквозь проходили и ложились в том же порядке, как первоначально.

— Вот это — искусство!..

Я смотрел на чудеса его рук — и не мог понять, каким образом все это у него выходило.

— Ведь я, кроме карт, всю жизнь ничем не занимался... Если мне выпустить из рук карты на неделю, так шабаш... Свадьбу Кречинского помните? Уж на что был искусник Михаил Васильевич Кречинский, а занялся не своим делом, на фармазонство перешел, булавку сменил, как последний подкидчик, — ну и пропал! За чужое дело не берись!

— Да ведь это на сцене, — возразил я.

— Нет, в жизни! Фамилия только другая, а он самый

у нас в Ярославле жил. За графа Красинского считался, уважением пользовался, а потом оказалось, что это вовсе не граф, а просто варшавский аферист и шулер, шляхтич Крысинский. Одну букровку в паспорте переправил, оказалось...

— И вы знали его в Ярославле?

— Нет, я тогда еще мальчуганом был, а вот мой учитель по игре, Елисей Антонович, вместе с ним работал... С него-то Сухово-Кобылин Расплюева как с живого списал, да и Кречинского списал с графа, тоже с натуры. Он был выслан после истории с булавкой из Петербурга в Ярославль, здесь сошелся с Елисеем Антоновичем—фамилии его не помню, кажется, из духовного звания он был или из чиновников... Все это я узнал через много лет. Жили они в Ярославле, а на добычу вдвоем отправлялись—разъезжали по ярмаркам, по городам и усадьбам, помещиков обыгрывали. Потом уж разузнали, что граф был липовый и что в графы его, как в «Свадьбе Кречинского» говорится, «липовый король жаловал».

Я по целым часам иногда слушал Попова, увлекшегося воспоминаниями, вынимал книжку, начинал записывать.

— Не надо, не пишите!—просил он.—Лучше сам я этим займусь. Зимой делать-то нечего, вот я и опишу всю свою жизнь с самого детства, все, что видел, всех, с кем дело имел. А потом вы выберете оттуда, что надо,—и печатайте. У меня родни никакой нет, некому будет обижаться на меня. Печатайте, как есть, с полной фамилией... Может, еще найдется и такой человек, который меня добрым словом вспомнит,—ведь всякое в жизни моей бывало.

А я все-таки записал и запомнил много из рассказов Николая Васильевича. Так продолжалось три лета. Я сохранил старика,—ну как же было его бросить!

Потом началась война, затем революция; старик все время жил в деревне и время от времени присылал мне пакеты с рукописями на листках клетчатых блокнотов, которые я оставил ему. Наконец в 1919 году сам привез мне

последнюю рукопись, под названием «Исповедь шулера», а через год умер от сыпняка. Начинаясь рукопись так: «У каждого человека есть своя книга жизни. Есть такая и у меня своя книжонка, которая просится, как исповедь, на свободу. Есть в начале ее грязные пятна, которые я не в силах отчистить, — моя горделивость страдала — я долго ее не мог побороть, но я все-таки ее поборол»...

Из записок Попова и из его рассказов во время наших бесед на даче выяснилось, как он стал игроком. Отец Николая Васильевича, кожевник, умер, когда мальчику было лет десять. У них был где-то на окраине Ярославля небольшой домишко с садиком и огородом, с воротами, выходившими на немощенную улицу, а на воротах висела деревянная дощечка с нарисованным на ней ведром. У соседнего домика, такого же маленького, но с большим яблоневым и ягодным садом, на дощечке был изображен ухват; по другую сторону улицы на домике столяра висела дощечка с изображением швабры.

Означало это, что на каждый пожар домовладельцы должны были являться с назначенными им вещами: мать Попова с ведром, столяр со шваброй.

«Мать моя была тогда еще совсем молодая и, рано овдовев, так ни за кого второй раз замуж и не вышла, до самой своей смерти не оставляла меня, и скончалась старушка в Москве, у меня на руках. Одиноко мы в Ярославле жили на крохи, оставленные отцом, да на доход с огорода. Знакомых мать не заводила, только соседи Кудимыч с женой, пожилые уже, но крепкие, здоровые старики и бывали у нас. Детей они не имели, а квартировал у них некий Плакида, державший бильярдную в трактире «Русский пир», против Николо-Мокринских казарм. Об этом я узнал уже гораздо позднее, а в первые годы сиротства я не понимал, что такая и за штука — бильярд.

Фамилия Кудимыча была Анкудинов, как и стояло под изображением ухвата, — ну и звали его все Кудимычем. А то еще за глаза Коровой звали. Он ездил

зимой по ярмаркам, а летом по Волге, чем-то торговал, как говорили, но в нашем городе он ничего не делал, сидел дома, лишь иногда в гости ходил. Дома всегда Кудимыч ходил в опорках и ситцевой рубашке, а отправляясь в гости, надевал бархатный жилет, долгополый, мещанский сюртук и сапоги с голенищами гармоникой, при чем так, бывало, начищал их ваксой, что они как зеркало блестели. Щеголь был, хоть и старик... Меня и он и жена его любили, давали гостинцы, ягоды из своего сада. В нашем саду ягод не было, только яблоки.

А постарше я стал—Кудимыч или его жена, а то Плакида начали посылать меня в лавку или в ренсковой погреб за вином и пивом, когда гости к ним приходили. Чаще других бывал у них Елисей Антонович. Он одевался баринном, носил часы, брюки навыпуск, голова у него была седая, а усы он красил, из себя был высокий, толстый, одутловатый, важный такой на вид».

Рассказывая мне о нем, Попов добавлял, что и сейчас еще ходит по Москве живой его портрет, один субъект, известный всем как либерал и благотворитель, а на самом деле шулер и дисконтер, разоривший много народу.

«До четырнадцати лет я учился в уездном училище, потом ученье бросил.

У Кудимыча в саду стояла беседка с окнами, и часто там сидел он с Елисеем Антоновичем, в карты вдвоем играли. Иногда к ним присоединялся и Плакида. Меня посылали за вином и закусками. Бывало, напишет Елисей Антонович в ренсковой погреб или в рыбную лавку записку и пошлет меня—а в лавке его уважали, отпускали самого лучшего балыка, икры... затем они выпитывали, играли, а то карты подбирали.

Как-то раз, мне уж лет пятнадцать было, зашел я в беседку, а Кудимыч начал меня гнать домой,—ступай, не твое здесь дело! Но Антоныч остановил меня и принялся

разные фокусы показывать,—стал учить меня самого их делать.

— Гляди, Кудимыч, ловкий малый выйдет из него, руки-то какие!

И вот мои большие белые руки решили мою участь.

Когда Антоныч не было, меня учил Кудимыч, а потом Плакида позвал в свою бильярдную, где кроме бильярда были разные игры — и бикса, и судьба, и фортушка, — а рядом в комнатке день и ночь в карты на деньги резались. Елисей Антонович заставлял меня проделывать всевозможные штуки с картами, учил все новым и новым приемам, очень меня хвалил и Кудимычу каждый раз говорил:

— Из малого выйдет толк. Руки на редкость, и не дурак.

В бильярдной у Плакиды я скоро стал своим человеком и в шестнадцать лет умел играть наверняка, быстро подбирать карты, делать вольты, всевозможные коретки, фальшивые тасовки и все, что требовалось для игрока, т. е. шулера-исполнителя. И успехом своим я обязан был главным образом Елисею Антоновичу, он куда выше был и Плакиды и Кудимыча».

Дальше в записках Попова шло описание всех его шулерских походов, а также игорных домов, игры на пароходах, главных шулеров. Но этому необходимо посвятить особый очерк, а теперь я передам только гибель Расплюева. Расплюевым его, правда, никто из игроков не называл, хотя многие и знали, что Расплюев именно с него списан был Сухово-Кобылиным.

Попов узнал о «Свадьбе Кречинского», о том, кто именно были Кречинский и Расплюев, через много лет после того, как, восемнадцатилетний, он ездил с шулерами летом на пароходах обыгрывать пассажиров.

— Вернувшись с Кудимычем из такой поездки, — рассказывал он мне, — мы узнали от Плакиды, что Елисея Антоновича актер Егор Быстров, тогда известный игрок на бильярде, поймал в мошенничестве и так избил, что его привезли домой замертво. Плакида сам присутствовал при этом. Дело было в бильярдной трактира «Столбы». Играли по крупной Быстров и знаменитый маркер Яшка Доминик, державший свой бильярд в трактире Лысенкова на Сенной и ходивший играть в трактир «Столбы», так как там бывала крупная игра. Яшка получил прозвание Доминика потому, что служил маркером в петербургском ресторане Доминика. Он считался там первым игроком и был выслан в Ярославль за мошенничество. Яшка был дружен с Елисеем Антоновичем, а «графа» знал еще с Петербурга. Это была одна шайка.

Быстров, не уступавший в игре на бильярде Яшке, играл с ним. Народу было много. Со стороны держались крупные пари — игроки за Яшку, публика — было много актеров — за своего, Быстрова. Крупную сумму держал за Яшку Антоныч, его дольщик. Он сидел за столиком и закусывал. Около его прибора лежал кусок мела, которым игроки мелили кий.

Партия шла к концу, — все зависело от последнего шара, и он так висел над лузой — только тронь — упадет. Удар был Быстрова. Он подошел к столу, и Елисей Антонович подал ему мел. Тот взял, намелил кий, прицелился — и вдруг «скиксовал»: кий скользнул по шару, и шар покатился в сторону. В публике произошло движение. Яшка моментально схватил кий и тотчас положил шар, продолжавший висеть над лузой. Выиграв, следовательно, партию, он тотчас же вынул из лузы выигранные им деньги. Не опомнившийся сразу Быстров сверкнул глазами, что-то сообразил, понюхал конец кия.

— Салом смазано! — крикнул он в негодовании, бросился к столу, а Елисей Антонович в это время салфеткой мел накрывал.



Это заметили окружающие. Быстров взял в руку, понюхал мел и показал всем:

— Нюхайте, мел насален!

Затем он изо всей силы ударил Антоныча кулаком по лицу, а подбежавшего Яшку — жием по голове. Актеры повскакивали и вслед за Быстровым начали лупить Антоныча, Яшку и всех, кто вздумал за них заступаться.

Это было осенью, а зимой «Расплюев» умер, Яшка Доминик ослеп.

— Так окончил мой «учитель» свое земное странствие...—завершил свое повествование Николай Васильевич.

— Это для меня не новость, Николай Васильевич! Забыли вы еще самый конец, как трагик Волгин выкинул вашего учителя в окно.

Поразился старик, руками всплеснул:

— Верно! Верно! Только мне уж об этом не Яшка, а другие рассказывали... Когда началась драка, кто-то открыл окно и закричал «караул», а приятель Быстрова, Волгин, который до той поры пьяный спал, сидя за столиком, проснулся и, узнав, что обидели Быстрова, бросился в свалку. Ему указали на толстяка с седой головой, который схватился в рукопашную с Быстровым.

— Прочь! — взревел он.

Все в испуге замерли перед громадной фигурой с поднятыми кулачищами.

— Этот?—ткнул Волгин пальцем в Антоныча и, услышав подтверждение, схватил его поперек тела, выкинул, как щенка, за окно...

Окончательно поражен был Николай Васильевич, когда я ему сказал, что это же самое я слышал от моего товарища по сцене Докучаева.

— Как? Того, что в «Свадьбе Кречинского» поминают?.. Я слышал о нем, но ни в одном городе мне с ним не удалось встретиться. Некоторые наши игроки видали его, а мне не пришлось.

Я потешил старика, рассказав, что знал о Докучаеве.